

Это были воспоминания во время бессонницы, не сон. Снова урок игры на фортепьяно — покрытый оранжевой плиткой пол, окно под потолком, новый инструмент в пустой комнатухе рядом с лазаретом. Ему было одиннадцать лет, и он разучивал первую прелюдию Баха из первого тома «Хорошо темперированного клавира» в упрощенной версии, но он об этом не имел ни малейшего понятия. Он не знал, известная это пьеса или не очень. Он не ведал, ни когда, ни где она была написана. Он даже не понимал, что кто-то когда-то удосужился ее сочинить. Музыка просто существовала в нотах, в виде упражнения, темная, словно сосновый лес зимой, исключительно для него, как его личный лабиринт холодной печали. Она его не отпускала.

Учительница сидела рядом с ним на высокой скамье. Круглолицая, с прямой спиной, надушенная, строгая. Ее красота скрывалась под маской уже знакомых повадок. Она никогда не хмурилась и не улыбалась. Кое-кто из мальчишек считал ее чокнутой, но он в этом сомневался.

Он опять ошибся в том же самом месте, где всегда ошибался, и она придвинулась к нему чуть ближе, чтобы указать на его ошибку. Ее теплый локоть уперся ему в плечо, и ее кисти с маникюренными ногтями застыли над его коленками. Ему вдруг стало щекотно, и пробежавшая по ногам предательская волна мурашек отвлекла его от музыки.

— Послушай. Это как легкое журчание.

Но когда она заиграла, он не услышал никакого легкого журчания. Его обдала удушливая и оглушающая волна ее духов. Аромат был приторный, округлый, тяжелый, словно речной окатыш, стукнувшийся о его мысли. Три года спустя он узнал, что это за запах: розовая вода.

— Попробуй еще раз. — Она чуть повысила голос, и в нем зазвучали строгие нотки. У нее был музыкальный слух, а у него нет. Он знал, что мысленно она витала где-то далеко и что ее утомляло его безразличие — для нее он был просто учеником пансионата с пальцами, измазанными чернилами. Эти пальцы тупо нажимали на беззвучные клавиши. Он сразу заметил трудное место в нотах, прежде чем добрался до него, это произошло до того, как он ошибся: ошибка неумолимо надвигалась на него, широко, по-матерински, раскрыв ему объятия, готовая подхватить его, это всегда была та же самая ошибка, коварно поджидавшая его и не обещавшая ему нежного поцелуя. И он снова сфальшивил. Его большой палец жил собственной жизнью.

Они вдвоем слушали, как фальшивые ноты растворились в шипящей тишине.

— Извините, — прошептал он себе под нос.

Выразив свое неудовольствие, она коротко выдохнула через ноздри, как будто фыркнула, — он не раз слышал такой звук. Ее пальцы легли ему на ляжку как раз под оком его серых шортков и впились в кожу. Он знал, что вечером там возникнет синячок. Ее холодные пальцы поползли выше под шорты, туда, где эластичные края трусов обнимали кожу. Он сполз со скамьи и, краснея, застыл перед фортепьяно.

— Сядь! Начни сначала!

Ее строгость вмиг стерла то, что случилось. Все прошло, как не было, и он даже усомнился в точности своего воспоминания об этом. Он так же сомневался всякий раз после подобных обескураживающих ситуаций со взрослыми. Они никогда не говорили, что им от тебя надо. Они скрывали от тебя пределы твоего неведения. То, что случилось, что бы это ни было, произошло по его вине, а неповиновение было чуждо его натуре. Поэтому он послушно сел, поднял голову и всмотрелся в суровые шеренги застывших на странице нотных знаков и опять заиграл, еще более неуверенно, чем раньше. Никакого журчания тут быть не могло — в этом лесу уж точно! И скоро он опять приблизился к тому самому трудному месту. Катастрофа была неминуема, и это ощущение подтвердило сей факт, когда его дурацкий большой палец сдвинулся вниз там, где ему следовало оставаться на месте. Он остановился. В его ушах звонко звучали фальшивые

ноты, словно его имя, громко произнесенное вслух. Двумя пальцами она зажала ему подбородок и повернула к себе его лицо. Даже в ее дыхании он уловил парфюмерный аромат.

Не сводя с него взгляда, она взяла с крышки пианино длинную линейку. Он не мог позволить ей ударить себя линейкой, но, сползая со скамьи, не заметил движения ее руки. Он щелкнула его по коленке ребром линейки, не полотном, и это было больно! Он шагнул назад.

— Делай, что я говорю, сядь!

Его коленка горела, но он не стал тереть ушибленное место ладонью, пока нет. Он в последний раз посмотрел на ее красивое лицо, на блузку в обтяжку, с высоким воротником и с перламутровыми пуговицами, на расходящиеся диагонально складки на ткани, туго натянутой ее грудью, и на ее спокойный немигающий взгляд.

Выбежав от нее, он бросился бежать мимо нескончаемой колоннады месяцев и бежал, бежал, пока ему не исполнилось тринадцать и не сгустилась ночь. Много месяцев она возникала в его грезах перед сном. Но на сей раз все было по-другому, ощущения были болезненные, холодные иголки кололи в животе — это, думал он, то самое, что люди называют экстазом. Все было ему в новинку, и хорошее, и плохое, но все это было его, собственное. Никогда в жизни он не испытывал подобного восторга, осознавая, что миновал точку невозврата. Слишком поздно, вернуться назад нельзя, но какая ему разница? Удивленный, он впервые кончил себе в руку. А когда пришел в себя, сел в темноте, встал с кровати и отправился в туалет общежития, в «сортир», чтобы получше рассмотреть там бледную слизь на своей ладони, на детской еще ладони.

И тут его воспоминания сменились сновидениями. Он приблизился сквозь сияющую бездну к краю горного пика, откуда открывался вид на далекий океан, подобный тому, что увидел толстый Кортес в стихотворении, которое весь класс в виде наказания переписывал двадцать пять раз. Море кишело извивающимися существами размером меньше головастика, их были мириады и мириады в водных просторах, тянувшихся к искривленному горизонту. Подойдя еще ближе, он заметил пловца, упрямо плывущего среди мельтешащих существ, распихивая

своих собратьев и проникая в гладкие розовые туннели, опережая прочих, которые в изнеможении отплывали прочь и уступали ему дорогу. Наконец он в одиночестве доплыл до сияющего диска, величественного, как солнце, и медленно вращавшегося по часовой стрелке, умиротворенно и со знанием дела, словно равнодушно дожидаясь его. Если это был не он, то, должно быть, кто-то другой. И когда он вошел внутрь сквозь плотные кроваво-красные занавеси, издалека послышался вой, а затем перед его глазами ярко вспыхнуло плачущее лицо ребенка.

Теперь он был взрослый мужчина, поэт, как ему хотелось думать, мучимый похмельем, с пятидневной щетиной, стряхнувший остатки недавнего сна и бредущий из своей спальни в детскую, на плач ребенка, которого он поднял из колыбели и прижал к груди.

Потом он оказался внизу с закутанным в одеяльце спящим ребенком на руках. Кресло-качалка и рядом с ним на низком столике купленная им книга о мировых неурядицах, которую он наверняка никогда не прочитает. У него своих неурядиц хватало. Он подошел к французскому окну и стал смотреть на узкий лондонский садик, купающийся в туманном влажном восходе, на одинокую голую яблоню. Слева от нее валялась перевернутая вверх дном зеленая тачка, к которой никто не прикасался с бог знает какого летнего дня. Чуть ближе к окну торчал металлический круглый столик, который он вечно хотел покрасить. Холодная весна маскировала мертвое дерево: в этом году листьев на нем не будет. В разгар начавшейся в июле трехнедельной засухи он мог бы еще его спасти, несмотря на запрет пользоваться водой из шланга для полива растений¹. Но он был слишком тогда занят, чтобы таскать через весь сад ведра с водой.

У него слипались глаза, и он откинул голову назад, но не засыпая, а снова предаваясь воспоминаниям. Это была прелюдия — как ее надо было сыграть. Прошло много времени с тех пор, как он находился здесь, — ему снова одиннадцать, и он вме-

¹ Запрет на полив из шланга огородов и садов применяется в Великобритании в засушливые сезоны. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

сте с тридцатью соучениками шагал к старой хижине Ниссена. Они были еще слишком малы, чтобы понять, какие они несчастные, и было слишком холодно, чтобы разговаривать на ходу. Охватившее всех нежелание куда-то идти придавало их движениям размеренную слаженность, как танцорам кордебалета, когда они молча спустились по поросшему травой крутому склону холма, а потом выстроились шеренгой в тумане и стали покорно ждать начала занятия.

А внутри, в самом центре хижины, стояла раскаленная печка, которую топили углем, и стоило им согреться, как они расшумелись. Здесь это было можно, а больше нигде, потому что их учитель латыни, низкорослый добряк-шотландец, не мог совладать с классом. На доске было написано уверенным учительским почерком *Exspectata dies aderat*. А ниже ученическими каракулями выведено: *Долгожданный день настал*. В этой самой хижине, так их учили, в более суровые времена мужчины готовились к морским сражениям и постигали выверенные навыки установки подводных мин. В этом заключалась их подготовка. А сейчас здесь же здоровенный парень, известный на весь пансион задира, вразвалочку вышел к доске, ухмыляясь, нагнул и насмешливо выставил свою задницу, которую неумело отхлестал тапком незлобивый шотландец. Мальчишки подбадривали задирю веселыми криками, потому как никто другой на такое бы не осмелился.

Гвалт усилился, поднялась суматоха, и мальчишки принялись перебрасывать что-то белое по партам, и тут он вспомнил, что сегодня понедельник и такой долгожданный и пугающий день настал — снова. У него на запястье красовались толстенные часы — подарок отца. *Только не потеряй!* Через тридцать две минуты начнется урок музыки. Он попытался не думать об училке-музыкантше, потому что он не подготовился к занятию. Слишком темно и страшно было в том лесу, в котором надо было добраться до места, где его большой палец неуклюже свисал вниз. Если бы он подумал о маме, им бы овладела слабость. Она была далеко и не могла ему помочь, поэтому он и ее тоже вытолкнул из памяти. Никто не мог предотвратить наступление понедельника. Синяк, полученный на прошлой неделе, уже побледнел — и что он такое в сравнении с парфюмерным арома-

том учительницы музыки. Синяк же не имеет запаха. Это скорее бесцветная картинка, или место, или ощущение места, или нечто среднее. Но помимо ужаса им овладело еще кое-что — возбуждение, от которого ему тоже надо бы избавиться.

Для Роланда Бейнса, лишенного сна человека в кресле-качалке, пробуждающийся город был не более чем далеким шуршанием, нараставшим с каждой минутой. Начинался утренний час пик. Выброшенные из своих сновидений и кроватей люди носились по улицам, точно ветер. А ему только и оставалось что быть кроваткой для своего сыночка. Он ощущал, как бьется сердце прижавшегося к его груди малыша — оно билось вдвое чаще, чем у него самого. Кровь в их жилах сейчас пульсировала не в лад, но настанет день, когда их пульсы окончательно синхронизируются и навсегда окажутся в разных фазах. Никогда они не будут столь же близки. Он будет меньше знать о нем, а потом и еще меньше. Другие будут знать Лоуренса куда лучше, чем он, будут знать, где он был, чем занимался и что говорил, потому что он сблизится со своим лучшим другом, а потом со своей возлюбленной. Иногда он будет плакать в одиночестве. Он станет отдаляться от отца, реже его навещать, все поспешнее его обнимать, он будет поглощен работой, семьей, возможно, политикой, а потом — прощай! А до этого он знал о нем все, где именно и с кем он был в тот или иной момент. Он был для своего малыша кроваткой, Богом. Долгое расставание с ребенком, возможно, составляет самую суть родительства, но этим ребенка невозможно зачать.

Много лет прошло с тех пор, как он перестал быть одиннадцатилетним мальчиком с тайной овальной отметиной на внутренней стороне ляжки. В тот вечер, когда везде в пансионе потушили свет, он тщательно рассмотрел его в сортире, спустив пижамные штаны и нагнувшись, чтобы рассмотреть пятно. Там на коже осталась вмятина от ее двух пальцев, ее печать, несмываемый знак подлинности того события. Своего рода фотоснимок. Ему не было больно, когда он провел кончиком пальца по краю овала, где бледная кожа, чуть зеленея по краям, отливала синевой. Он сильно нажал на синяк, на самую середину с почти почерневшей кожей. Не больно.

*

В течение нескольких недель после исчезновения его жены, визитов полицейского и опечатывания дома он часто пытался объяснить самому себе навязчивые воспоминания, навалившиеся на него в ту ночь, когда он внезапно остался один. Утомление и стресс отбрасывали его назад, к истокам, к первопричинам случившегося, в бесконечное прошлое. Было бы куда хуже, если бы он знал, что ждет его впереди — многочисленные посещения исхоженного тысячами просителей кабинета, долгое ожидание с сотнями других на приклепанных к полу пластиковых скамейках, когда подойдет его очередь, многочисленные собеседования, на которых он излагал свое дело, покуда маленький Лоуренс Х. Бейнс хныкал и извивался у него на руках. В конце концов ему наконец удалось выторговать себе какое-никакое государственное пособие, довольствие отца-одиночки, вспомоществование вдовца, хотя она не считалась умершей. Когда Лоуренсу исполнился год, для малыша нашлось место в яслях, куда его принимали на то время, что его отец работал — в колл-центре или где-то еще в подобном заведении. Профессор помощи по телефону. Вполне себе разумное занятие. Почему бы не позволить посторонним из всех сил стараться его поддержать материально, покуда он целыми днями вымучивал свои секстины?¹ В этом не было никакого противоречия. Это было обоюдное соглашение, договор, который он заключил, — и ненавидел.

То, что произошло давным-давно в крохотной комнатшке рядом с лазаретом, было столь же вопиющим, как и его нынешняя ситуация, но он продолжал с ней мириться, сейчас, как и тогда, делая вид, будто все отлично. Но если что и могло его сокрушить, то это лишь то, что шло изнутри: ощущение, что он допустил оплошность. Если бы он был сбитым с толку ребенком, почувствовавшим это тогда, зачем терзаться чувством вины теперь? Обвиняй ее, не себя! Он давно уже выучил наизусть тек-

¹ Секстина — популярная во времена поэтов-трубадуров изощренная стихотворная форма: шесть строф по шесть строк, где последняя строка каждой строфы является также первой строкой следующей строфы.